

Владимир Шапко

Всё могут короли

Роман

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ



Владимир Шапко
Всё могут короли

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Шапко В.

Всё могут короли / В. Шапко — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Роман о предолимпийской Москве 80-го года. О московском шофёре-лимитчике, который хотел стать писателем...Содержит нецензурную брань.

Содержание

1. «Старую собачку новому фокусу не научишь»	5
2. Царские часы, или играем оперетту!	6
3. Привет далекий от тещи, или Неделанный ангел	7
4. Я – Гордеева!	8
5. «Вот он наш охват? Наше зрение?»	9
6. Тряпка!(Дылдов)	12
7. Измайловский парк	14
8. Чернильно-фильдекосовый и его подчиненные	16
9. Надменный парень, или А если по высшему счету?	19
10. «Чего делаешь-то, дура!» (Зенов)	21
11. «Наш адрес не дом и не улица!»	22
12. Бутылка Плиски после ленинского субботника	25
13. Моцарт	28
Конец ознакомительного фрагмента.	32

1. «Старую собачку новому фокусу не научишь»

Белая рубашка его давно превратилась в манишку. Манишку приказчика, приказчика-сердцееда. То есть была без рукавов и почти без спины. «Под пиджак, под пиджак!» – таскал на стол и посмеивался сердцеед с голыми мускулистыми руками. Серов смотрел на друга своего Дылдова, на оборванную эту его рубашку, и на глаз, что называется, набегала слеза. Бутылка на столе тоже была одинока. Несчастлива. «Акдам». Жалкий до слез. «Всё, Сережа. Всё, – говорил Дылдов. – Тебе – хватит. Больше не будет. Учти». Дылдов не пил. Уже две недели. Со сковородки наваливал другу жареную картошку. Чтобы тот поел, прежде чем пить. «Старую собачку новому фокусу не научишь!» – как-то брезгливо сказал Серов. Красная резиновая дрянь пошла вхлынывать в него как лава...

Серов резко проснулся. С запрокинутой головой. С разинутой пастью. Которая ощущалась грязной пересохшей пепельницей. Пошамкал ею, нагоняя слюну. Скосил глаза – комната была пуста. Как пух, не ведающий опоры – взнялся. Сел. На столе у самого подоконника стояли бутылки. Много. Очень много. Толпы бутылок. В толстостенное круглое дылдовское окно, как в стереотрубу, удивленно заглядывали пешеходы. Думали, что принимают стеклопосуду...

Под брань соседки Дылдова вытолкнулся на улицу. В аллее через дорогу шугал метлой листья сам Дылдов. Пружинные помочи, держащие обширные штаны крючника, имели вид подпруг. Ущербляя себя да размеров черного тараканчика, Серов задергался в противоположную сторону. В сторону Пушкинской. Впереди шла женщина в кожаном пальто. Качала тяжелым задом, будто вылосненным маслбоем. Серов почему-то не мог оббежать. Тыкался с разных сторон. Как овощ на огороде, вышел большой грузинский глаз. Глаз женщины-грузинки. «Чего тебе, *малчык?*» Серов шамальнул во двор Литинститута. Тяжело дышал, вытаращившись на Бородатого. Как и тот на него. Голубь дриснул. У Бородатого скатилась белая слеза. Скатилась точно у поставленного в мучительный, несуществующий угол. Сразу захотелось вытереть. Помочь, выручить. Но – как?! Ведь пьедестал не вместит двоих!..

2. Царские часы, или играем оперетту!

... Часы, о которых Серову напоминали потом всю жизнь, были вручены ему в день рождения. Одиннадцатого января. Вручены Евгенией в конце обеда, уже после двух-трех рюмок, в присутствии всех домочадцев. У Серова никогда не было своих часов. Он год уже был женат. Учился на третьем курсе института. Прошел благополучно военку. Получил военный билет. Лейтенант. Младший лейтенант. А часов своих – никогда не имел. Да. Эти были первые. Он сразу надел их. Тут же за столом. Часы на руке выглядели обширно. Размером чуть ли не с компАс. Именно – компАс. Царские часы! Серов встал и, как на свадьбе было уже, классически – в круто оттопыренный локоть – поцеловал Евгению. Предварительно вскочившую. Все захлопали. У одной только Марьи Зиновеевны (тещи) глаза злорадно вспыхивали. Точно занимались колдовращением на столе. Силой взгляда подгребали к себе разные предметы. Такие, как торт на подставке, очень удобный под руку. Смачный холодец. Которым тоже хорошо вмазать в рожу. Серов – Марье Зиновеевне – проникновенно улыбался. Уже с конспектом у груди. Это самое дорогое, что есть у него. Самое дорогое. Нужно идти прорабатывать. Простите. В тот же день, вечером, он обмывал часы в общаге. На Малышева. С сантехником Коловым, вечерником Трубчиным и вечным аспирантом Дружининым. У тараканов шли выборы. Дружно бежали по стене. Да это же на пионера, оскорблял часы Трубчин. Дешевка. Это обижало. Возникал спор. Дружинин и Колов были не согласны. Были на стороне часов. Пытались отыскать достоинства **в компАсе**. С заметным беспокойством поглядывали на мелеющую бутылку. Серов бежал. В ближайшие гастрономы. Выборы на стенах продолжались. Потом он оказался на лестнице свердловского почтамта. Сверял свои часы с часами какой-то девицы. В лохматой шубке, девица походила на чижика-пыжика на длинных тонких ножках. Она свежо смеялась, лицо в лицо, весело смотрела на куролесающего, охватывающего ее лапами парня. Вела его куда-то. Серов почему-то был уверен, что это одна из тех двух теток Евгении, у которых постоянно начерненные глаза всегда были, как невиноватые ночные бабочки. Где сестра! – спрашивал Серов. Куда делась! Не горюйте! Мужики вам будут! Отличные мужики!.. Очнулся в каком-то подъезде. Лежащим в темноте. На кафеле вроде бы. У батареи. Ощупал руку. Глянул. Часовой механизм фосфоресцировал как зубастый радующийся мертвец. Тикал, мерзавец! Уф-ф, обошлось. Часы сняли у него через неделю. Тоже поздно вечером. Опять пьяного. Кемарившего с папироской на одной из оснеженных скамей вдоль Исетского пруда. Он только помнил легкую, как ветка, руку, ласково обнявшую и похлопавшую его по плечу: что, друг, кемарим? Он ответил твердо: кемарим! Да! И долго пытался разглядеть увиливающее, как канкан, лицо. Которое нахихикавшись, развратно навихлявшись, исчезло. Рука сразу стала не обремененной ничем. Рука стала свободной. Над маленьким скукожившимся Серовым бежали заветренные поддымливающие облачка. Свердловская загазованная луна меняла маски: то вдруг ставший полностью белым негр Порги, то ставшая чумазой его белокурая подруга Бесс. То небывалый, белый, Порги, то совсем чумазая Бесс.

3. Привет далекий от тещи, или Недоделанный ангел

Заскрежетал в замке ключ. О! Лежит! Уже на кровати, на месте! В майке, в трико! По-домашнему! Удивительно! Евгения вроде начала раздевать девчонок. (Чувствовал спиной, не поворачивался.) Вот скажи, Серов: ты хоть раз, хоть один раз! – свой выходной провел с толком? Для себя? (Я не говорю о Катьке с Манькой, обо мне.) Для себя – использовал? С толком? (Серов молчал. Если тебя не любят, уже разлюбили – начинают называть по фамилии. Серов. Теперь уже постоянно. Теперь чтобы Сережа, даже Сергей – язык не поворачивается. Се-рофф!) Посидел дома, за столом, пописал плотно? Плодотворно, черт подери! Прошел по своим редакциям, чтобы наругаться там с зелинскими (даже для этого!) – использовал? Ведь завтра за баранку. Опять на целую неделю. Когда писать? Никогда! (Да не балуйся, я тебе говорю! Стой!) Ну хорошо, не пишется – своди девчонок в цирк, в планетарий, куда угодно! В парке погуляй. Почитай им книжки. Сам расскажи какую-нибудь сказку, как ты умеешь... Но – нет. У тебя программа другая: перед первым выходным, сразу вечером – нажраться. (Стой на месте! Не смеяться надо над отцом – плакать.) На следующий день – уже весь день пить. До усёру. (Стой, я тебе говорю!) Ну а во второй день – тут всё от денег: или опять гудеть, или лежать на кровати, отвернувшись от всего мира, тихо ненавидя его. Вот твоя программа. На все выходные. Дылдов, наверно, сегодня трезвый. Не пьет. Если б не так – не лежал бы сейчас здесь... Да стой, я тебе сказала! Сейчас по попке наподдаю!

Как пружина (коронный номер, циркач!) Серов взметнулся с кровати. Так же пружинно – шел в ванночку, в туалет. О! О! Орел идет! Артист! Как ни в чем не бывало! Смотрите на него! Девчонки запрыгали, закричали.

Вместе с хлещущим душем дико смотрел на обширные, как на водолаза, женины трусы. Висящие на веревке. Панталоны. Семейные. Голубые. Это же далекие приветы от тещи! От любимой тещи! Впрочем – оптическая абберация. Вышел назад. В комнату.

Девчонки были свежо подстрижены. Евгения водила в парикмахерскую. Дочь Манька сразу подбежала – красивая я? Волосы на лбу и с боков подстригли ровненько. Девчонка от этого была как подстриженный дождик. И из дождика выглядывали, смеялись глазенки. Так и сказал Серов и добавил, что красивая очень! А я, а я? – кокетливо повернула голову набок дочь Катька. На затылке у нее зачем-то сильно выстригли. По-крысиному как-то получилось всё. Об этом простодушно и сказал папаша... Манька запрыгала на одной ножке. Ура! Ура! Я подстриженный дождик! А у Катьки по-крысиному! Я подстриженный дождик! Катька сразу заревела: ма-ма-а! Мать прижала голову ребенка, глядя. Ну-ну! Долго думал? Писатель? Серов виновато почесывал голову.

Опять лежал на кровати. В телевизор вышла троица в галифе. Из фильмов тридцатых годов. Этакие самовары-самопалы. Кочующие из фильма в фильм. Извечные други-товарищи. Сейчас вот летчики. Первым делом, первым делом самолете-е-оты, ну а девушки? А девушки (сами понимаете) – потто-ом! И спляшут тебе, и споют завсегда. Ну чертяги, самовары-самопалы! Серов взметнулся – иээхх! – бацанул на паласе. Босиком. И руками по животу, и ногами дробью! Иээх! Девчонки заскакали, ликуя. Не паясничай, последовал приказ. Хоть такой сценарий напиши сперва. А потом подпрыгивай. Евгения кормила дочерей. Серов опять лежал. С руками за голову. Есть отказался. Так ведь понятно: у человека головка бобо. Нет, ты все-таки скажи, Серов... Хм, Серов. Раньше это она была Никулькова. Для Серова было всегда имя. Сережа. Сергей, на худой конец. Теперь всё наоборот – Серофф! Лопатки торчали из комбинации у жены как... как у недоразвитого ангела! Чтоб халат надеть – никогда, не-ет. Так и будет всю жизнь в комбинациях разгуливать... Недоделанный ангел!

4. Я – Гордеева!

... Будучи уже полгода женой Серова, нося его фамилию (во всяком случае, в Свидетельстве о браке так было записано), Никулькова сдавала однажды бельё в прачечной. Когда спросили, на кого заполнять квитанцию, немного замешкалась и вдруг сказала: **На Гордееву!** И еще раз, твердо, подтверждая: Да! Я – Гордеева! У нее забежали мурашки по ступням и почему-то разом сильно вспотело меж ног и под мышками. Но вышла из прачечной собой довольная. Улыбалась, шла, шурилась на солнце. Независимая мальчишеская челка резко откидывалась ею набок. Как, по меньшей мере, лянга, поддаваемая ботинком пацана... Бельё пошел получать Серов. Погнала теща. У нас каждый имеет свои обязанности! Пора бы это уяснить! Ладно. Кто же спорит! Серов поднимал руки. Серов, как всегда, жаждал мира. Никулькова была у подруги. Отбивался один. Мир и разоружение! Иду! В прачечной с интересом смотрел на движение, на поток. Как в коровнике с доярками всё было. Всёдвигающееся, скрежещущее, шибящее паром производство. Машинально отдал бумажку. Фамилия? – строго спросили у него. «Серова», наверное. Ну, может быть – «Никулькова». Девица, знаете ли, была. А что – что-то не так? Женщина смотрела на парня – и одновременно словно бы назад, за себя. Очень тощая, торчливо изогнутая – женщина походила на скорости. На рычаг для переключения скоростей. Куда будет дернута – никто не знает. Читай! Бумажка была подсунута к самому лицу. Гордеева, прочитал Серов. Ничего не понимаю! Что – украл квитанцию и даже прочесть не удосужился? Ах ты гад! Да я милицию сейчас вызову! Клавка, Зойка, ну-ка идите сюда! Серова завертело, понесло на улицу будто дымного Хоттабыча из сказки. Дома Никулькова выдавливала угри. Перед зеркалом на подоконнике. Угрей было всего два. Но беспокоили. Морально, конечно. Никулькова делала из своих пальцев ветки. Ты! Гордеева! – ворвался Серов. Гордеева-Никулькова густо покраснела. Стала подниматься со стула. А?! «Гордеева!» Вы только послушайте! Серов бегал. Да пустая ты литавра! Ха! Ха! Ха! Чуб-косарь у Гордеевой рассыпался, замер. Подбородок был как у кошки, съевшей воробья.

5. «Вот он наш охват? Наше зрение?»

Серов торопливо раздевал покорных Катьку и Маньку. Часы на белой стене равнодушно отматывали восьмой час. Колченогая скамеечка под Серовым постукивала. В соседнем зале дети уже тихо маршировали, вразнобой помахивая руками. «Раз-два! Раз-два!» – слышалось под струнодрезжащее пианино. «А теперь, дети, – бурей... Поб-бе-жа-а-али! Замахали ручками, замахали! Бурей! Бурей!» От пианино, как от землетрясения, стенка с часами начинала трястись. Дети будто бы бежали. Осторожно падали, ложились, в одежде – как в мешочках, жиденькие со сна.

Куроленко Елена Викторовна постукала чистейшим прозрачным ногтем по стеклу своих часов. Серов покорно кивнул. Сдергивал, кидал Манькины резиновые сапожки в ящик с зайчиком.

Над Серовым продолжал стоять халат свежее свежее. К работе такой халат допустить – было бы полным кощунством. Его можно было только носить. Заведующей. Директору Бани. Продмага. Главному врачу. По утрам перед зеркалом прочувственно, тепло застегивая пуговицы его. «Завтра – очистка территории. Вы в курсе?» Серов сказал, что они работают: и он, и жена. Ему сразу же возразили: все работают. Однако... Хорошо, хорошо, кто-нибудь попробует отпроситься.

Куроленко не уходила. Руки в открахмаленных карманах, завитая –круто. Серов сказал, что уплатят. Во вторник. Получка. Конечно, можно и во вторник, однако было бы хорошо не забывать, как они сюда попали, кто они, по гроб жизни люди должны быть благодарны, а не...

Серов остановил руки. С детским носком в руках смотрел на женщину, как на заструганную осину. Сколько месяцев как прописалась-то в Москве? Москвичка?.. Куроленко унесла закинутую голову в залец. «Раз-два! Раз-два! Не спать!» Дети затопали. Утяжеленно, перепуганно.

Серов бросил носок в ящик. В другой. Где белочка...

Проскочил в последний момент – пневматические двери состукнулись. Слепленный множеством глаз, тут же отвернулся обратно, к двери. С нарастающим воем поезд рванул в туннель. За стеклом напротив Серова выскочил и полетел пришибленный черный человечек. На плечах человечка умирал дождь. Серов убрал взгляд в сторону. Схема на стенке напоминала макроскопически разожравшуюся блоху, не знающую куда ползти. Точно в плохой картине плохим художником все были ссунуты в какую-то членовредительную композицию. Сидели, сильно откинувшись, разбросавшись, развалившись. А также очень прямо, сухо. Висели на блестящих штангах с перепутанными руками и головами. Стояли, в скорби загнувшись, выпятив самодовольно животы. Ужимались у дверей, у стекол. Всё было заселено, что называется, глубоким интеллектом. Никто ни на кого не смотрел. Москвичи вывесили в передыхе глаза. Для тонуса слегка нервничали рафинированные москвички. Глазели по потолкам – все в новых больших костюмах – деревенские жители.

А вагон, болтаясь, летел. Где-то глубоко под землей. В полной тьме, холоде, сырости. И казалось Серову, что оберегается он только ненадежными лампами под потолком. Оберегается как трепетными руками, ладонями... Невидимая сила начинала теснить, сдавливать со всех сторон движение, скользко полетел длинный кафель, вагон вынесло в пустой вислый свет станции, резко сжало, и он словно ткнулся во что-то, встав.

С шипением разбрасывались двери. Торопясь в куче, люди выходили. Торопясь в куче, люди входили. Уступая дорогу, Серов спиной вминался в поручень, привставал на носочки и потупливался балериной.

На освободившиеся места падали новые пассажиры. Сразу возводили книги, как возводят мусульмане ладони, творя намаз. Стукнутые аутотренингом, продолжали бороться со своими лицами их соседи.

И опять нарастающее, воющее устремление поезда в черноту. Опять словно мучительная, бесконечная подвижка под землей. Подвижка к чему-то очень желанному, но недостижимому, неизвестному. И Серов опять никак не мог запустить в себя Черненко, летящего за стеклом вагона, не находил сил освободиться от двойника...

С присядкой, беря метлой широко, Дылдов швырял мокрые грязные листья справа налево, прошагивая бульвар.

В этот послеутренний неопределенный час аллея была пустой, с тяжело висящей меж деревьев пасмурной сырой далью. Иногда неизвестно откуда поколыхивались одиночные прохожие, мечтательные, словно растения. От метлы Дылдова подскакивали, будто от косы. Обращивались, спотыкались, унимая сердце. «Поберегись, граждане! – летали метла и листья. – Проспавший дворник работает!»

Серов смотрел на его тяжелую налимью спину, всю мокрую от пота, на застиранное пузыристое трико, на взнузданные этим трико голые мотолыги, желто торчащие из смятых кроссовок, на ритмично срывающуюся к плечу голову в вязаной шапке... Дылдов тоже увидел его, подмигнул, продолжая махать: «Сейчас я, Сережа. Обожди».

Они сидели на скамье среди высоких отуманенных лип. Дылдов курил, ознобливо находившись в накинутом на плечи пальто, слушал жалобы Серова.

Уже в комнате Дылдова, в холостяцком разбросе и безалаберщине, посреди все того же магазина стеклопосуду, Серов предложил «сбежать». «Не надо, Сережа. Сам знаешь, когда ко мне подступает. Время не подошло. И тебе не советую».

Не снимая плаща, Серов сел у стола. Слушал, как в коридоре Дылдов резко пустил струю из крана в чайник. Как, что-то сказав, хохотал вместе с чайником и соседкой.

Заварка была. Сахара не было. Дылдов подвиг было себя к пальто. Серов его остановил – не надо, сойдет и так. Пили чай вприкуску с каменными пряниками. Пытаясь откусить, Дылдов удерживал пряник двумя руками. Как губную гармошку. Хруст, раскол наступал секунд через пять. Заливая камушек во рту чаем, Дылдов говорил: «...Они же все словно договорились, как писать, Сережа. Давно договорились. Негласно, но железно договорились. А ты – сам же видишь, ну никак к ним. Ни с какого боку... Понимаешь – правила хорошего тона. А ты – просто не воспитан. Да разве будут они тебя печатать? Они будут тебя бить! И притом искренне, каждый раз еще самодовольней утверждаясь в своей правоте. Это даже – не традиция. Тут именно – договорились, условились. Это касается и языка, и построения фразы, и тем, и сюжетов, и границ дозволенного... Правила хорошего тона – понимаешь? А ты – ну никак к ним. Ни с какого боку. Ты просто не воспитан...»

Серов сидел послушно, чувствовал себя виноватым. Рядом проникновенно блестело расплюснутое лицо налива. Отпивая чай, налим дожимал и себя, и кореша по литературным мытарствам: «А вообще-то, Сережа, всё давно написано. Всё давно – банальность. Спасти литературу (ну и нас, грешных) может только свежий взгляд на банальность. Свой взгляд. Единственный. Только твой взгляд...»

Бормочут: ухищрения в стилистике, оригинальничание, фиглярство!.. А дело в твоих глазах. Ты так видишь. И никто другой. Другие проходят. Мимо. Они не видят. А ты видишь. И это – твое счастье. И я не верю в муки слова. Есть радость слова. Озарение. Ты слово ждешь, и оно приходит. Конечно, это всё – о таланте. А если всё у тебя где-то на серединке да на половинку... Не надо бояться своих слов, Сережа. Примут их, нет – это десятое. Не надо бояться зелинских. Это ороговелые. Они знают о литературе всё и ничего. Они **не видят**. Слепые. Они ведут разговоры на уровне сюжета. Поступка. Мотивации. Слова они не чувствуют, не слышат. У них нет того пресловутого *образного мышления*. Нет своих глаз. Хотя они говорят

тебе: «Море смеялось» – это образ! Им долго разжевывали эту метафору в университетах, и они слотнули ее, искренне поверив, что только таким и может быть образ. Это их надо благодарить за то, что литература сейчас – голый серый сухостой. А ты вот пишешь: «собака бежала прямо-боком-наперед». Куда тебе к ним? Не примут».

Дылдов налил чаю. Себе пятый. Серову – второй. Начал теперь друга «спасать»: «Мой совет, Сережа: не обращай внимания. Неприятно это все, ранит – понимаю. Но – забудь, выкинь из головы. Они не писатели. Они – члены Союза писателей...»

Утешитель помолчал и неожиданно съехал с накатанной дороги: «А вообще-то, если здраво, плохи наши дела, Сережа. Можно сказать, безнадежны... Работать надо, Сережа. Только работать. За столом. Писать. Несмотря ни на что. Каждый день. Каждый час. А ты вот нервничать стал. Бегаешь по редакциям, доказываешь. Зачем?.. Сгоришь так, Сережа. Радость труда своего потеряешь. Не ходи к ним. Сгноят они тебя, эти зелинские...»

Дылдов застучал пальцами по столу, раздувая налимьи ноздри.

Серов смотрел в круглые голые дылдовские окошки в толстых стенах – как будто в перевернутый бинокль. Просматривалось пространство аж до глухой кирпичной стены торца двухэтажного дома. На противоположной стороне бульвара. Напротив... А, Лёша?.. Это наш охват? Наше зрение?..

Смотрели в бинокль оба.

6. Тряпка!(Дылдов)

...Как наказанный на плацу солдат – он летал. Делал жимы. Держался только на руках и носках сомкнутых ног. Натуральный мучающийся солдат. Пятки вместе – носки врозь! И даже так тело наливалось сладостью неукротимо. Не касайся! Не касайся меня! Женщина закрывалась голой рукой. Всё видел. И ее мощную, как причалы, грудь, и чашу живота, обширную, тяжелую, и лоснящиеся расставленные две глыбы ног, где и находилась столица, – все корабли, все флаги к нам, куда он мучительно устремлялся, как будто в равнодушный желтый рай. Ночник был включен. Ненавидела – а всегда включала. Чтобы ненавидеть еще больше. Не касайся! Не касайся, тебе говорят! Он взмывал выше. И вдруг замер на взлете. Запрокинув голову, уже извергая. Женщина напряглась, испуганно вслушиваясь в себя. Природа держала. Не давала оттолкнуть, сбросить с себя осеменителя. Он сам отпрянул. Как дух свят, полетел, повалился на кресло-кровать в углу комнаты. Женщина корячилась над тазом, зло вымывала всё. Не смотри, мерзавец! И даже такую он любил ее. Почему не идешь? К Доренкову? Ты ведущий инженер! Кальпиди получил – а ты почему? А? Тряпка! Женщина была уже на тахте. Под одеялом. Под самое горло. Как в наматраснике, в чехле. Долго будешь испражняться при ребенке? Я тебя спрашиваю! Когда пойдешь?! Дылдов сказал, что Анжелка не слышит. Маленькая еще. Спит крепко. Женщина взвилась. Не смей называть ее так! «Анжелка». Это ты можешь быть – Лёшка, Алёшка! Лёха! Кем угодно! А она Анжела! Ан-же-ла! Понял! Заруби это себе на носу! «Анжелка». Мерзавец. Женщина опять укладывалась, садила кулаком в подушку. Чего уставился! Свет выключай! Выключил, нажав кнопку. Лежал на креслице-кроватьке. Сбросив руки, ноги. Лежал вздыбленно. Как подготовленный к вскрытию грудной клетки. Как для разделки хорошим мясным ножом. Господи, ну за что так ненавидит! За что! Что я ей сделал! Дылдов любил, любил бесконечно, рабски. Хотя здравый смысл не иссяк, нередко скреб. Не могли такие тела не стремиться к ласке. К мужской ласке. К близости с мужчиной. Не могли... Он застучал ее с плюгавеньким мужичонкой вологодского типа. Через полгода. Летом. В разгар рабочего времени. Ведомая этим мужичонкой – мужичонкой ей по плечо! – женщина цвела, как торт. Смеялась над остротами ударяющего копытцами плюгавенького, похлопывала его по руке. Дескать, полно, полно! Увидела мужа на противоположной стороне улицы. Вологодский завертел головой: где?! где?! Тогда его самого повели. Можно сказать, потащили. И он откидывался только назад, как попало ставя копытца. Как потерявший разом всё. Как неотвратно уводимый в вырезатель... Дылдов делал вид, что ничего не произошло. Мало ли. Бывший сокурсник. Или даже одноклассник. Тогда его возненавидели еще больше. И ненавидеть стали как-то сверхблюдски. Ни о каких сношениях – даже солдатом (на плацу) – не могло быть и речи. Не разговаривали неделями. Шла уже куда хотела, когда хотела. Тогда Дылдов напился. Выпил. Чтобы попытаться побить ее. Дескать, курва. Я тебе дам. Ничего не получилось: самого вытолкали в коридор. На глаза общежитских. Да еще пнули в зад ногой. Тряпка! (Эх, Дылдов, не люби бабу так – пропадешь.) Бесконечными вечерами сидел теперь с Анжелкой. Ребенок был бесшумен, тих, как тенёты. Чего-то перебирал, переставлял на своем столике... Хватал ребёнчишку, прижимал к себе. Слезы спадали, как перья с убитого луны. Ну папа. Отпусти-и. Гладил, гладил детскую головку. Нужно было на что-то решиться. Так больше – нельзя. Невозможно! В сентябре, наконец, уволился с работы. Сразу выписался. Днем собрал свои рукописи, запихал в чемодан. Бросил ключ, захлопнул дверь. Через полчаса был на вокзале. А вечером уже побалтывался в общем вагоне. Отвернувшись от теплой компании, сидел к проходу вагона, ухватив рукой руку. Женщина показывала сынишке в окно. Смотри, смотри, Гоша, какой необычный закат! Закат был – как длинная щель, сквозящая из желтого рая... Гоша молча смотрел. Тугой затылок его походил на белую брюкву...

На другой день солнца не было. Под развешенными дождями летели, бесконечно закруживали себе головы прогорклые сиротливые стожки. Гоша в окно больше не глядел. Каждые полчаса, подвязанный белой салфеткой – ел. Набирался сил, казалось, на всю предстоящую взрослую жизнь. Тугой затылок его был неподвижен. Пошевеливались только красные ушки. Иногда слезал со второй полки его брат. Угрюмый дикой подросток. Сидел. Брошенный один на один с угрями, с упорным своим онанизмом. Мать его явно побаивалась. Костя, съешь пирожок! – говорил ему жизнерадостный Гоша. Малиновые ушки у Гоши были как две кулинарные рёзки, прилепленные к булке. Морду брата перекашивало. Будто штольню. Брат лез на полку. Предлагал пирожок Гоша и дяде. Дылдову. Но тот поспешно отказывался. Благодарно гладил затылок мальчишки. Живой теплый затылок можно было мять как пластилин, и это... терзало почему-то душу. До слез, до боли. Дылдов путался в чужом детстве, путался в своем детстве, в чужой жизни, в своей жизни. Ночью опять не спал. Уходил в тамбур, без конца курил. На какой-то маленькой станции луна выглянула из-за угла пятиэтажного дома. Смотрела. Как соглядатай. Не скрывающий себя. Бездомные собачонки на дальнем пустыре взирали на нее, тьякали, выли. Поезд тронулся. Луна уплывала. Надменная, желтая. Хотелось бить и бить башку о стекло, о стены тамбура. Только бы выбить желтую блядь из головы!..

7. Измайловский парк

Серов сидел на скамейке, перед обширной поляной, окруженной деревьями. Печально свесились у оступившегося солнца уже ослепшие желтые листья. В деревья не вмещалась медная тишина.

Точно бесполое, огненно-рыжие легкие собаки летали по поляне из конца в конец. Игриво зарывались длинными мордами в вороха рыжих листьев. Бурно ворошили их. Как растрясывали за собой мешки. Снова улетали.

Трехлетняя Манька побежала, подпрыгивая, догонять. Серов кинулся – еле успел схватить. Тогда прыгала на месте, сжав кулачки, восторженными брызгая слюнками. «Собаки! Собаки! Рыжие собаки!» Самодовольные хозяева стояли, выставив колено, поигрывая поводками.

Собак скоро переловили. Под конвоем увели.

Манька подбежала к мальчишке в красном комбинезоне с гербом на груди. Космонавт безропотно отдал... куклу. Пока девчонка крутила у куклы ногу, хлопал белобрысыми ресницами... Мальчишку тоже увели. Предварительно – двумя пальцами – как пинцетом – вырвав у Маньки куклу. И так же, двумя пальцами, как все тем же брезгливым пинцетом, сбросив ее в специальный целлофановый мешок. Возмущенные ножки старушонки-москвички, уводящей перепуганного мальчишку, точно были мумифицированы прямо с черненькими прозрачными чулочками.

Серов удрученно смотрел на оставшееся детское пальто в крупную клетку, на крутящуюся головенку в беретике, выискивающую, где бы еще шкодануть...

С другим мальчишкой Манька столкнулась, бегая вокруг дерева. Столкнулась нос к носу. Мальчишка и Манька походили вокруг друг друга. Как собаки. Молчком. Серьезно оценивая. И разбежались без сожаления в разные стороны. Космонавт был лучше. Он был весь красный и с большим цветком на сердце.

На поляну пришел послушный класс начальной школы. Мальчики и девочки наклонялись, подбирали большие листья. Ходили медленно, как во сне. Учительница в черном длинном пальто гордо алела. Укрошенность и послушание были полными. Манька побежала. Вот она я! Давайте играть! Школьники смотрели не нее в недоумении. (О чем она?) С полностью засушенными кострами пионеров в руках... Продолжили ходить и собирать. Как бы из костров этих составлять большие гербарии. Тогда Манька вдруг схватила учительницу. За длинную полу пальто. Как за половик. Начала дергать, тянуть. Пошли-и! Учительница до этого-то была алая – а покраснела страшно. Выдернула полу. Точно с ней, учительницей, совершили непристойность. Оглянулась. Но класс спал, ходил, послушно подбирал большие листья. Стала что-то говорить насупленной Маньке, показывая на отца. Манька упрямо не уходила. Серов злорадно наблюдал, чем все кончится. Каков будет, так сказать, педагогический прием. Учительница уже подталкивала Маньку. В спину. Иди, иди, девочка. К папе. Манька возвращалась. Ее опять вели, подталкивали. Она возвращалась. Весь класс смотрел, раскрыв единый рот. Маньке надоело, она побежала к отцу. Ученики учительницу уводили в лес оглядываясь. И только высохшие костры мелькали меж деревьев, пропадая...

Хотелось отругать девчонку, нашлапать. Но вместо этого... неожиданно обнял. Гладил сразу притихшую детскую головку. Размазывались в пришедших слезах медные пятна леса.

– Поедем домой... Домой хочу... К Катке...

Да, пора. Конечно, пора. Домой. Поднялся. Медленно пошли к выходу. К метро.

Точно свершая углубленную работу, четко бежали спортсменки в тонких ветровках с капюшонами, треплясь как флажки. Ручонка Маньки дернулась было в руке Серова... но смирилась, обмякла.

Кормя за столом дочерей, Евгения не забывала поглядывать на мужа. Наблюдать за ним. Опытным глазом супруги оценивала резвость его. Рысистость на сегодня, шустрость. Но Серов пошевеливал в тарелке ложкой, был тих, задумчив. В гастронорме не рвался, не бежал. Обычно – как? Пивка. Бутылку. Две. Не возражаешь? Перед обедом? А там пошло. До этого – метания. Мечется. По коридорам. В комнатах. Со всеми общежитскими разговаривает. Бахвалится, смеется. Бросает папироски. А бес – уже внутри. Уже заводит. И – побежал Серов!..

Евгения подкладывала дочкам, отирала у них с губ, трогала пушистые головки. Когда она рожала первую, Катю, когда под закидывающиеся пронзительные вопли ее плод пошел и таз раздавало, выворачивало до горизонта, а потом вдруг разом все отделилось, ушло, после того, как вишневым влажным кулёнком был шлепнут, запищал и сквозь слезы традиционно заулыбалась она, мать – она вдруг почувствовала, что не кончилось у нее, что еще что-то шевельнулось, дернулось... «Не расходитесь! – испуганно крикнула врачам. – Кажется, еще сейчас... будет...» Врачи смеялись. Через год быть ей опять здесь. Непременно. На этом же столе. Всё-то теперь. Это уж то-очно. Никуда не денется. Примета. И верно: через три месяца – кормила, а забеременела. Серов бегал в панике, гнал в абортарий за углом. Но разве можно через примету? Сережа? Да черт тебя дери-и! И ровно через год Серов примчал ее в этот же роддом. Уже с Манькой в животе. Примету выполнила, товарищи врачи. Ой, мамоньки! Скорей!..

После обеда Катю и Маньку привычно – зачалив ножку ножкой – стояли меж колен отца. Как много белого света, отец раскрывал им большую книгу. Евгении и делать вроде бы стало нечего. Сидела на стуле. Как старуха – ревматическими ветками вверх – держала руки на переднике. Теперь уже Серов беспокоился, поглядывая на жену. Характерная поза. Женщина думает. Сейчас надумает. Непременно надумает. Это же конец света, когда женщина думает! Ну, па-ап, чита-ай! – толкали его девчонки.

Серов перевернул страницу и сказал: «Маша и медведь». Русская народная сказка...

8. Чернильно-фильдекосовый и его подчиненные

Тогда, весной, после короткой, сокрушительной пропесочки в автоколонне за вытрезвитель (сдернут разом был с тринадцатой, с летнего графика на отпуск, на три месяца в гараж – слесарить!) у Серова, что называется, кости затрещали от трех этих кинутых на него мешков, в глазах потемнело, но встал, распрямился, перевел дух, поблагодарил собравшихся за науку. И особенно нашего дорогого товарища Хромова. Нашего многоуважаемого начальника автоколонны! «Не юродствуй, алкаш!» – прогремел тот из-за красного стола на сцене. Сидящий один. Как-то гораздо выше всего. И стола, и сцены. И всех внизу, в зрительном узком зальце клуба. «Всё! – прихлопнул по столу. – Лавочка закрыта!»

Остро, по-звериному Серов ощутил, что попался, что со всех сторон обложен, что дальше некуда, предел, дошел до ручки, но... но короткая эта, минутная, единоличная расправа Хромова над ним... была больше понимания вины, сильнее всех осознаний ее, душила сейчас почти до обморока. Га-а-ад!

Он даже забыл про стыд, когда шел за всеми, поспешно прессующими, прячущими злорадство свое, жалость свою в клубных тесных дверях...

Дома увидел заплаканное неузнаваемое лицо жены. Увеличенное лицо лошади. Зависшее в пространстве комнатенки возле стола. И под этим лицом, тесные и тихие, как цветки, поматывались над раскуделенными куклятами Катька и Манька... Шагнул в ванную. В туалет. Под шум воды сидел, вцепившись в край ванночки, покачивался. Собравшись быть в ванной вечно. Ни за что не выходить!..

Ночью на полу возле стола глаза его серебрились, как лягушки. С кровати смотрела жена. Откидывалась, под голой рукой катала голову. Как попало, точно переломанные, разбросались на кушетке Манька и Катька...

Завгар Мельников, подмигивая своей банде, ставил Серова на грязнуху. С четвертым разрядом Серов мыл ходовую часть и коробки передач. Иногда доверяли карбюраторы.

Карбюраторщица, сопя, разглядывала поданный карбюратор – как разглядывают в руках безгильные повара непромытые почти. Серов косо смотрел в сторону.

Когда оставался дома один, перед работой во вторую – упрямо пытался дописать рассказ... Концовка не давалась. Всё было не то, не так. Хотя и написал предварительно план. И вроде бы все в нем продумано, выстроено. Логично. Но нет – никак.

Клал голову щекой на рукопись. Лежал с растекшимся взглядом.

Заставляя себя, пересиливая, ехал в центр, под плащ надев выходной костюм и галстук. Возле кучки торфа на сыром дымящемся пустыре все так же работал белоголовый человек в телогрейке. Точно и не уходил никуда за эти дни. По-стариковски щадя себя, чуток только осаживаясь, набирал в лопату. Прицельно кидал. Покидав минуточку-другую, зависал на лопате, оглядывая работу. Снова щадяще осаживался с лопатой. Кидал... Серов бросил окурочек, откинул внутрь стеклянную дверь...

В который раз уж он приходил к ним в редакцию, в который раз видел взвешивающиеся жиденькие линзочки очёчков Зелинского, видел, как, узнав, тот поспешно откладывает вставочку на чернильницу и аж потрясывается весь, развязывая тесемки на его, Серова, папке, перед этим мгновенно выхватив ее из стола... в который раз видел все это – и все равно становилось мутно, тошно.

Сидел у стола, ждал. Над столом, в черненьком удущье нудно висело сравнение всего этого с зубной болью. С ожиданием ее.

– Вот вы в очередном своем опусе, которым осчастливили нас, пишете, Серов... «Длинношёрстная, легкая сука бежала прямо-боком-наперёд»... Мм?

Над прозраченькими стекляшками стояли фильдекосовые глаза.

– Что же вы, Геннадий Валентинович, только это и вычитали из всего рассказа?

– Нет, вы нам объясните, Серов, как это можно бежать: прямо... боком... да еще наперёд!

И он словно начал крутить рули очечков вправо. К еще двум сотрудникам отдела прозы. Склоненным над бумагами и солидарно поматывающим головами: ну, Серов! Выдал опять, с ним не соскучишься, нет!

Серов вскочил.

– Вот, вот как бегают собаки прямо-боком-наперёд! – Нагорбившись, он мелко пробежал прямо-боком-наперёд. Мельтеша руками как лапками. – Вот, вот, если вы не видели никогда!

Сотрудники непрошибаемо, самодовольно смеялись. Серьезный Зелинский протирал очки. Крутил слепой, как оскопленной, головой.

– Пишите просто, Серов. «По огороду бежала сука...»

– По какому огороду?

– Ну, по дороге там... По деревне... Не знаю как у вас там!

– Да ведь скучно это всё, скучно. Муторно! Все эти очерки... жалкие фотографии... все эти синюшные трактаты с потугой на философию. Вся эта дутая значительность, фундаментальность, где всё художественное (художественность) на уровне «искринок в глазах», этих, как их?.. «теплинок», «печалинок»... «Придуринок!»... А? Ведь всё затерто давно. До дыр, до мяса, – выталкивал Серов давно назревший манифест.

Его с презрением прервали:

– Когда нечего писать – пишут х-художественно! – И снова поставили ему фильдекосовые глаза с дрожливенькими подбутыльницами: – С цветочками, с виньетками, с благоуханием!

Уже откровенно – сотрудники ржали. Один с настырным деревенским чубом, до укола похожим на новоселовский (на Саше Новоселова), другой – с замятым мочалом на треугольном, можно сказать, интеллигентском черепе.

Серов дернулся к столу с намерением схватить папку. Зелинский рукой руку Серова отстранил. С «прямо-боком-наперед» это, конечно, только разминка. Главное впереди. Он раскидывал листки на столе, близоруко внюхивался в них, находил и победно вскидывал очёчки к Серову – требуя «объяснить». Серов ходил, защищался, начинал горячиться, спорить и даже под давно закаменевшими висюльками Зелинского, под тяжелым хохотом от двух столов, упрямый, глупый, не хотел никак понять, что рассказ его, собственно, давно убит, изничтожен. За-ре-зан... Литераторы умолкали. По одному. Злились на бестолкового.

Серов начал сгребать со стола листки. Понес их, как побитых птиц. Загораживал собой на свободном столике у двери...

– Не обижайтесь, Серов. (Серов молчал.) На обидчивых воду возят... Мы с вами работаем... Приносите другое... – Чернильно-фильдекосовый вернулся к своим бумагам, начал любовно макать вставочку в чернильницу. Как бы напиться чернилками. Он – Чехов и Бунин сегодня! А заодно и – Белинский с Чернышевским! Не меньше!

На воздухе, бросив за собой дверь, Серов кинул папку на скамью. Опять жадно курил, выставив избитые глаза дымящемуся пустырю.

Возле белоголового старика была уже новая, будто с неба скинутая ему кучка. И он покорно ковырлял ее, словно богом назначенный нескончаемый свой урок.

Поздно вечером, выглотав с кем-то просто темным бутылку в подъезде, Серов, маньячно фонаря, разглагольствовал у Новоселова. В его комнате. Почти без перерывов дергал из сигаретки. «...Ведь все эти Зелинские... все эти... Там, кстати, сидит один. На тебя похож. Чубом. Вы с ним из одной деревни. К слову это. Да. А если серьезно: ведь кто сидит по редакциям,

Саша? Кто пробавляется от рецензий? Неудавшиеся писатели. Они сами не могут опубликоваться. Несчастные, жалкие люди. Измученные завистью. Профессионально, навечно. Измученные своей графоманией. Маниакальностью. Тоской. Разве такой у в и д и т, р а з г л я д и т? Он заранее предубежден. Стоеросов. Полосат. Он же шлагбаум!.. Ну ладно, на переезде, ладно – поезд может пройти. Нужен, необходим. А этот-то выскакивает где угодно. М-минуточку! – и руку стоеросово на десять метров поперек!.. Обойди такого...»

Новоселов, крупный парень, с чубом, как с пышным выстрелом из поджига – слушал, хмурился. Глядя на Серова, вообще на таких как Серов, он почему-то всегда вспоминал... падающие бомбочки... У них это было, в городке. Когда затор бомбили на Белой. В раннем детстве... Поразило его тогда – как падали бомбочки. Казалось, они на лёд будто садились. Как утки на воду. И через долгую секунду слышались глухие вспарывающие удары. И затор, как вредный старик, передергивался. А самолет уже зудел, разворачивался на новый заход. И снова – будто просто трепетливые утки вместо свистящих бомб... Новоселову часто виделось такое несоответствие между падением и приземлением... Он смягчал удары...

– Сережа... почему ты пьешь?.. – нужно было, наконец, спросить только об этом одном. Прямо. Глядя в глаза... Вместо этого Новоселов долго, трудно говорил, что не надо было уходить с работы, даже во вторую, о собрании, где разбирали Серова за вытрезвитель, что Хромов, Мельников в гараже, сам знаешь...

Серов уводил ухмылки, презрительно хмыкал: Хромов! Мельников!..

Через час, трезвый, злой, дома он опять увидел лошадиное лицо, опять как большой муляж вывешенное в пространстве комнаты. Ну сколько ж можно!.. Сразу прошел в ванную. В туалет. Сидел на краю ванночки, покачивался. Среди пламенных приветов как бы от тещи. Розовых, голубых. Неистребимых на веревке. Вечных. Виноват был весь мир. Виноваты были все. Кроме него, писателя-пьяницы Серова. Ды чё-орыный во-о-орын! Э-ды чё-о-орный во-о-оры-ын! В дверь застучали. Заткнись! Дети спят!..

9. Надменный парень, или А если по высшему счету?

У Дылдова был гость. Какой-то парень. Он надменно сидел у дылдовского круглого окна, как у стереотрубы профессор. Не обратив ни малейшего внимания на вошедшего Серова, он **объяснял явление**: «Допустим, все стоят на переходе. Через улицу. Смотрят – красный. Нельзя. А может, это и не красный цвет вовсе. А может быть, это какой-нибудь другой цвет. Но у тебя в голове – красный, у него – красный, у меня – красный. Все уверены – красный... А кто знает, если по высшему счету брать?..»

Дылдов пожал Серову руку, похлопал по плечу, выдвинул табуретку, приглашая на сеанс. Но чтоб не шумел он только, чтоб тихо было. Чтоб как в кино. Опять оперся на столешницу, опять был весь внимание.

Парень стучал по коленям длинными выгнутыми пальцами. Как клюшками. «...Или – дерьмо взять. Запах. Каждый знает. Однако если по высшему счету – сомневаюсь!»

Серов посмотрел на Дылдова. Потрогал мочку уха. Шизофреник?

Дылдов тронул подбородок. Слегка почесал. Не без того!

Расставленные ноги парня без носков, но в мокалинах, стояли как кривые кости.

«А жизнь человеческую если посмотреть? Положенную на ничтожные гвоздочки годов-цифр? Ничтожный рядок, протянувшийся в никуда – и всё?.. А может, жизнь-то – вширь раскинулась, пространственно, неохватно? А человек лежит, как йог, ощущает только острые эти гвоздочки. Всем своим телом. И никуда. А? Это как? Правильно?..»

Серову да и Дылдову уже не терпелось приняться за него, не терпелось разделать его под орех, но всякий раз, как только кто-нибудь из них раскрывал рот – парень сердито поднимал руку: «Я не кончил!..» Недовольно стучал по коленям выгнутыми своими клюшками. «А цирк, к примеру? Циркач в нем? Палками кидает... Этими... булавами. Или просто шарики у него гуляют. Белые. В руках. А если по высшему счету – это зачем?.. Но человек кидает. Занят. Пусть... Или БАМ. Это как? По высшему счету?.. Но понаехали, суетятся, соревнуются, тянут там какую-то железную дорогу. Мерзнут, радуются. – Пусть... Для людей надо придумывать бамы, фортепьяны там разные, скрипки, булавы! Пусть кидают, забивают костыли, бренчат... Пусть думают, что работают, что достигают совершенства. Пусть всё – как бы серьезно. По высшему счету жизни... Людей надо жалеть работой. Да. Жалеть... Не человек для работы, а работа для человека. Пусть играет...

Или – человек не справляется там. Бесталанный. Не тянет. Что его – убить?.. Надо жалеть его. Работой. Пусть. Участвует же. Чего ж еще? Каждый за жизнь свою произведет все равно больше, чем проест. Как бы плохо ни работал. Колхозы наши, заводы, конторы – всё построено на жалости к человеку. Может, даже на любви к нему. Пускай играет. Пусть думает, что работает. Ордена там ему, доску почета – пусть. Да! А у Павлова?.. «Работа, человек, инстинкт цели!» То есть что это – конечный результат, что ли? Да фигня! Важно **участие** в цели. Всем миром чтоб, собором, кучей. А не цель как таковая, не результат ее. Это на Западе – глотки друг другу рвут. Пусть их. У нас – не пройдет. Людей жалеет работой. Люди заняты. Космос? – Ура! На целину? – Ура! БАМ – ура! Булавы кидать – Ура!»

Непонятно было – парень говорит всерьез или всё – мистерия. Мистерия-буфф, мистификация. И, как паяц, он сейчас загогочет со всеми, визгливо закатится на весь цирк...

«Труд примиряет человека с жизнью. Да, примиряет. Единит. А если б так-то человек, без работы – по отношению к ней, жизни-то – ведь зверь зверем тогда! Чего от него можно ждать? – Никто не знает!.. Надо дать ему возможность. Пусть будет это его шанс. Он имеет на него право. Имеет! Умные люди... – парень жестко посмотрел на слушающих, – ...умные люди поймут это. А дураки – пусть!..»

Слушающие удивлялись – парень, несмотря на придурь, брал широко. Однако привык слушать, походило, только себя. И надо признать, умел заставить слушать себя. Но было также очевидно, что всё у него ходит на грани. Куда повернет – в разумное, в безумие ли – предсказать было невозможно.

Парень стучал клюшковыми своими пальцами по коленям. Он был спокоен. Он вогнал слушателей в немоту железно. Он собирался с мыслями. «А если сперму взять? Человечью? (Дылдов и Серов переглянулись.) Излитую во все времена? Всеми народами? Да собрать ее всю?.. Это что же было б с землей тогда? С земным шаром?.. Монстр бы в космосе летал, роняя за собой континенты, океаны спермы! Вот что значит по большому счету брать... А вы... копошитесь тут, пишете чего-то...»

– А как? – осмелился спросить Серов.

– Что – как?

– Собрать – как?

– Это неважно. В один выброс – миллион сперматозоидов. На жене там или онанист какой... Миллион!.. А если по большому счету? Во всемирном масштабе? Внутренний микрокосмос спермы и тут же – макрокосмос ее? Если сопоставить их? Вместе?.. (Слушатели начали сопоставлять.) То-то! Космос затопит. Шагу негде будет ступить. Микрокосмос спермы и тут же – макрокосмос ее? Сопоставить? Вот и думайте теперь... А то пишете тут... свои романы...»

Дылдовская налимя шея уже бурно налилась, уже потрясывалась, готовая разорваться, однако парень недовольно постукивал пальцами. Парень решил добить слушателей: «А знаете ли вы, вы – писатели, что от того, как стоят в прихожей туфли или сапоги там какие зимние – о хозяине их можно сказать всё? Знаете или нет, вы – писатели? (Дылдов и Серов переглянулись, узнавая: знают они или нет?) Вот так стоят (он показал – как стоят) – это одно. Ладно. Пусть. А вот так (он усугубил положение своих голых кривых ног в мокалинах) – так это разве не хулиганство со стороны хозяина?..»

И все это говорилось совершенно серьезно. Требовательно даже, обличающе. Человек болел своими мыслями, пропуская их через себя. Выстрадал их...

Хохот слушателей был дик, страшен. Это был хохот сумасшедших. Это был не хохот даже – припадок. Они валились на стол, подкидывались на кровати. Серов выскакивал в коридор, вновь появлялся, переламываясь и колотясь. Парень был нормален. Не шелохнулся на стуле. Клюшковые пальцы выстукивали на коленях.

Потом он ел ливерную колбасу, честно заработанную. Нарезанные кусочки – длинной брал щепотью. Как будто молился. Как будто заглатывал молитву. Парень жизнью явно был не избалован. «Его Федором зовут», – пояснил про него, как про великомученика, Дылдов. Парень отдал высоко засученную руку Серову: «Федор. Зенов». Снова брал ливер в троеперстие. Снова как собирал в молитву, нетерпеливо сглатывая. Подносил ко рту, запрокидывал голову, проваливал глаза. «Тебе бы рубашку надо, Федя... – сказал Дылдов. – Да и носки на ноги...» – «Не надо. Тепло еще... – ответил бич. – Потом дашь». Ну, потом – так потом.

Уходил парень каким-то совершенно непохожим на себя. Тихим, смущенным. Ничего не ответил на вопрос Дылдова, придет ли ночевать. Спятися как-то, ужался в дверях, толкнулся и исчез.

10. «Чего делаешь-то, дура!» (Зенов)

...Она сказала ему, что давно за ним наблюдает, хихихи. Как он здесь ошивается. На станции. В Ступино, хихихи. Грибочки какие-то перед ней, ягодки в банках и плошках, выставленные прямо на землю. На асфальт. Наблюдает с позавчерашнего дня. Как только он слез с московской электрички, хихихи. Надолго к нам? В славный город бичей Ступино, хихихи? Из Москвы, что ли, поперли, хихихи? Он огрызнулся: твое какое собачье дело? Отошел. Стерва. Августовское солнце жгло. Однако жрать хотелось по-прежнему нестерпимо. Как пёс, полакал из фонтанчика возле билетных касс. Бабёшка все хихикала, подманивала. От загара тощие ручонки и мордашка были как у муравья. Ну же! Иди сюда, хихихи! Вроде как посторонний – подошел. На вот, порубай! Схватил сорокакопеечный ливер в кишке. Выдавливал в рот, как из тубы космонавт. Начал рвать зубами. Вместе с кишкой. Хлеба, хлеба возьми, хихихи. Снова лакал из фонтанчика. Небо наклонилось, грозило скользнуть, улететь вбок. Постоял для устойчивости. Потряс головой. Потом, особо не думая, как все тот же пёс, пошел за бабенкой. Бабенка размашисто шла впереди с сумками-ведрами на руках, пиная длинную черную юбку. Пиная, можно сказать, макси. Зада у бабенки не было. За складками матерьяла егозила будто бы шпилька. Челнок. С час, наверное, ехали автобусом. Платила бабенка. Верка, как она назвалась. (А тебя как? Зенов? Федор? У, какой гордый, хихихи!) В густом черемушнике лазил, гнул деревья. Наклонял к земле. Обирала черемуху Верка. Все лицо было в тенётах, как в засохших соплях. Протягивались куда-то в небо осенние нескончаемые радужные паутины. Бабешка тараторила без умолку. От черемухи с черным ртом – как беззубая. Бичиха бича видит издали, хихихи! Работай, Федя, хихихи, отработывай кредит! Ели на пологой сползающей к ручью поляне. Верка круто запрокидывала портвейную. Потом разбросалась на траве. Разбросались точно просто ее юбка и мужская рубашка с закатанными рукавами. Одолевало любопытство. Что – и тела как такового нет? А ты посмотри! Как от взрыва, взметнулась юбка. Мгновенно явив ему взведенную, готовую стрельнуть рогатку. На которой белья и не ночевало. Чего делаешь-то, дура! – отпрянул исследователь. Потом он гнал за женщиной, ломился кустами. Ухватив за юбку, протяженно падал с ней. На муравьиной куче, руками, за бедра, вздергивал себе утлую голую эту ее шпильку. Никак не мог вложить. Разбросав руки, бабенка скулила над муравейником. . . И вспыхнуло небо радугой, и затряслось, и начало разваливаться, и точно перекинулось разом, отбросив его в сторону. Женщина быстро отползла, все скуля. И усталились друг на дружку. Возле порушенной кучи. Сплошь облепленные муравьями – как обгорелые монстры, выползшие из пожара. . . И снова бежали. И снова протяженно падали. . . Кружили над ними какие-то летательные аппараты с моторчиками. Легкие, как комары. Бóшки в касках тянулись, пытались разглядеть.

11. «Наш адрес не дом и не улица!»

Как кокон, стояло по утрам общежитие, завернутое в туман. За пустырем, за водоемом вдали, напоминая высосанные пеньки чирьев, еле угадывались в тумане три трубки ТЭЦ. Сам пустырь, убитый апрельским заморозком, лежал белым кладбищем стрекоз. Диким, всё сметающим кочевьем проносились стада крыс, мокро вытаптывая за собой, как выжигая, весь заморозок дотла. Не мог лечь, пугался земли грязноватый туман. Потом вылезшее солнце иссушило его – и раскидало по пустырю резко-ртутные одеяла из воды, капель, по которым уже ехали, взрывая их, как на лыжах с горы, большие растопыренные вороны. Из общаги на пустырь выбежал первый спортсмен. Бежал, радостно подпрыгивал, взмахивая пустыми ручонками, как взлетать пытающийся птенец, но пропал где-то у водоёма, то ли утонув там, то ли проскользнув вбок. Сам водоём теперь при солнце – стал словно бы раскинутым, расправленным аккуратно платьем очень чисто плотной дамы (ТЭЦ), на природе сидящей и очень увеличенными, вывернутыми губами сосущей небесную благодать...

К девяти часам скромненько пришел оркестрик с зачехленными трубами. Человек в девять. В одиннадцать. Суеверным нечетным числом пришел. Как цветочный, как подарочный. Раздевая блестяще-никелированные трубы и баритоны, музыканты рассеянно поглядывали на здание. Как на первого зрителя-дурака. Затем быстренько сдвинулись к центру, встали в кружок, оттопырив зады и вытянув шеи, приложились интеллигентно к мундштукам и дружно ударили, плоско стучая ступнями как гуси лапами. Тем самым создав себе уютненький, неистово загрохотавший музыкальный мирок. Барабан же с тарелками пристукивал от всех независимо, отдельно: ùста-ùста! Как эгоист.

Первым выскочил из общежития Кропин. Вахтер. Полураздетый, сразу с улыбкой до ушей. Оглядывался, искал с кем бы порадоваться этому никелированному грохочущему празднику. Казалось, двинься, пойдешь оркестр – пошагал бы впереди него, не раздумывая. Этаким голопузым мальчишкой с деревянной сабелькой на боку. Вразнобой размахивая руками. Раз-два! раз-два! Однако вынесенный кумач на палках с двумя разинувшимися пэтэушниками был неустойчив, пьян. Металась Дранишникова – воспитатель, строила пацанов, но те не строились как надо (в стойку «смирно», что ли?), тарасились на оркестр, и старые известковые буквы «да здравствует» перекашивало на материале, жевало. Буквы словно осыпались к ногам мальчишек, и их можно было собирать. Еще один, забытый всеми пэтэушник носился с портретом за спиной на палке. С портретом Вождя. Подпрыгивал с ним, точно с воздушным змеем. Как будто хотел оторваться и лететь. Еле уловил его Кропин. Поставил рядом с барабаном. Получилась фотография времен Гражданской войны: оркестр храбрых трубачей, опутанный кумачом, портрет Вождя возле барабана. Здорово! Прямо душа поет! Кропин трепетно тряс руку вышедшему Новоселову. Председатель Совета Общежития однако был озабочен. Поглядывал на окна здания, прикидывал – как выгонять? Выковыривать как? Вздохнув, пошел обратно. Вышуровывать из комнат. Однако в первом же коридоре, увидев Новоселова, люди начинали перебегать из комнатки в комнатку. Хихикали. Играли с ним, понимаешь, в кошки-мышки. И больше всех – девчата. Заигрывали как бы. Вспомнился сразу Давыдов-Размётнов. Его добродушные улыбки и слова. Когда его трепали, не в шутку лупцевали женщины. Да что же это вы, товарищи-женщины, делаете со мной! Ведь умру сейчас от щекотки! Дорогие вы мои! Ха-ха-ха!.. Выводил из комнаток. Ничего. Сначала шли. Чуть останавливался по делу, говорил с кем-нибудь – бежали. На цыпочках упрыгивали. Да что же это такое, дорогие вы мои! Приходилось снова выгребать – вести под руки.

Тем временем на улице, не слыша даже рева оркестра, за указующим, за протыкающим пальчиком Силкиной (директор общежития) поспешно передёргивалась Нырова с блокнотом и карандашом (завхоз.) Опять были вывешены женские трусики на одном из оконце. Этаким

снизочкой вяленой рыбки. Вдобавок на соседнем окне полоскало застиранную пеленку (да после свеженького! да после желтенького!), и это в такой день! Поэтому Ныровой пришлось прямо-таки ветром... прямо-таки ужасным сквозняком улететь обратно в общежитие. Чтобы немедленно устранить, немедленно ликвидировать безобразия!

Выгоняемый Новоселовым и активистами народ копился возле кумача, возле барабана и оркестра. Ожидалось шествие на субботник. Можно сказать, демонстрация. К пустырю и на пустыре. Ждали команды. Силкина махнула. Оркестранты, не переставая играть, активно затолклись на месте. Замаршировали. И пошли за нотами на трубах, как упрямые ослы за подвешенным сеном. Ударник приторочился под ляжку к барабану, утаскивался барабаном, с размаху ударяя.

И ничего не оставалось всем, как двинуться за ними.

Слышались оживленные разговоры, смех. Все девушки шли под руку и пели. Стройные рядки их грудей вздрагивали в едином ритме. Как будто бы рядки сокрытых серых зверьков. Было в этом что-то от большой, коллективно несомой, звероводной фермы. Парни с лопатами штыками вверх нервно похохатывали от такого изобилия сокрытых зверьков, тоже маршировали по бокам, точно охраняя, но в тоже время и как бы скрадывая их. И как колеса, колченого, пробалтывались вдоль колонн новоселовские активисты. Все падали. С земли тянулись рукой – всячески направляли! Видя эти падения активистов, падения с протянутой рукой... Серов принимался хохотать. С навесившейся на руку Евгенией, среди тяжелых замужних женщин, на пузо утянувших трёники, он находился будто в сплошь молочно-товарном производстве! (Какие тут «зверьки»? где? какая охота? какие игры?) А тут еще Катька и Манька начали ему обезьянничать, подпрыгивать впереди. Серов совсем заходился от смеха. Пробрался к нему Новоселов, сияющий: праздник ведь, Сережа, праздник! Жена сразу отпустила руку мужа. Новоселов приобнял их за плечи, повел. Повел, как говорится, *в забой*. Он был сейчас старый рабочий, наставник, отец родной. Сосредоточенный свитой чуб его покачивался, светил как нафонарник. Эх, черти вы мои суконные, черти! Ведь праздник же сегодня, праздник! Черти вы мои полосатые! На радость прыгающим Катьке и Маньке, Серов опять начал хохотать, совсем пропадая. Фильма тридцатых годов была полная! И на пустырь уже тянулись, переваливались самосвалы, набитые деревьями, кустами. Везли уже *страну кудрявую на све-е-ете дня-а-а!* Оркестр понимал момент – трубил. Прабабкиным фокстротом попарные девчата оттаптывались назад. И снова наступали. *Тилім-тилім! Нам утро вменяет прохладу-у, нам ве-етер вдаряет в лицо-о! Тилім-тилім!* И барабанщик всех пристукивал к себе тарелкой. Уже на месте. И дальше – некуда: вода. И трубачи водили трубами как хоботками, приняхивались к окрестности, оглядывались по пустырю, *тилім-тилім!*

Минут через двадцать, когда уже копали, у общежития показалась и заныряла к пустырю черная «Волга». «Волга» с начальством. Силкина в ужасе бросилась, задирижировала. Но музыканты сами уже встали гусями. Ударили, подкачивая тарелкой медный свет:

Иста! йста! Е-сли бы па-рни всей зе-мли!..

Из машины поднялся Хромов. Сутулый, тяжелый, высокий. Манаичев же – как будто из ящика наружу вылезал. Поставив себя на ноги, недовольно шарил что-то в габардине до пят. В карманах. В сравнении с Хромовым низенький, кубастый, но сразу видно было: главный – он. К нему подбежали Силкина и Нырова, запыхавшиеся от счастья. Повели, указуя, куда он может ступить без боязни замочить ноги. Хромов шел, высился сбоку. В спортивном шершавом пиджаке, с грудью и спиной колесами. Седеющий бобр на голове. Матёрый нью-йоркский гангстер при Папе. Телохранитель. Такой пойдет бить – досками разлетаться начнут!

Как всегда опоздав, парторг Тамилевский прискакал на уазике. Догнал всех, присоединился. Размахивал руками на манер мельницы. Куда бы ни шел Манаичев – туда сразу пере-

бегали с лозунгом пэтэушники. Выставив его ему. Как жеваную портянку. И с портретом пэтэушник хитро просовывался. Как бы из-под кумача-портянки. Манаичев косился. С одним лозунгом все, что ли? Куда ни кинь взор, понимаешь. Придумать новый, что ли, не могли? «Наглядная агитация! Наглядная агитация!» – клушкой запрыгала впереди всех Дранишников, воспитательница пэтэушников.

И ещё. Когда все шли, передвигались – оркестр трубил марши не переставая. Как только останавливались – разом обрывал: должно быть с л о в о. Манаичев хмуро смотрел, как врубались лопаты. Говорил парням, чтоб брали глубже, понимаешь. Девушки ожидающе удерживали кусточки, вроде как за шкирку хулиганов. Парторг, жадный, радостный Тамиловский метался, выискивал лица. Чтобы призвать их, призвать! Люди посмеивались, уклонялись. (Один Серов был как Володя юный, дергался за Тамиловским, хотел учиться, внимать, но Серова за годный к учебе матерьял Тамиловский не признавал.) Хромов высоко над всеми курил, пережидая. Снова трогались – и оркестр раздражался. Получалось – как на военном параде. На Красной площади. «Здравствуйте, товарищи!»... «Здра-ра-ра-ра-ра-ра-ра!» И музыка дальше, и барабан!

Через десять минут Манаичев большой подушкой лежал в машине. Под лобовым стеклом. Как будто в саркофаге. Полученном при жизни. Шофер рядом превратился в руль. Хромов надел машину на ногу. Махнул оркестру. Оркестр истошно взревел. С Начальником прощаясь навсегда.

Опять побежала Дранишниковова и все Пэтэушниковы. Чтобы почтительно поставиться с лозунгом перед отъезжающими. И Вождя без шапки, как лихого татарина, пэтэушник снизу хитро просовывал. Как уже разоблаченного, как пятиалтынного.

По пустырю скакал забытый Тамиловский, узик подхватил его, помчал вдогонку.

Крылом вперед проталкивалась по небу косоплечая ворона. От радости и счастья все девушки опять пошли оттаптывать и наступать фокстротом. По райскому московскому пустырю. По райской всей, московской земле. Меж райских кустиков, которые они высадили сами. Закидывали головы к вороне, с оркестром пели: «Наш адырис не дом и не ули-ца! Наш адырис Советсыкий Сою-у-ус!»

Уталкиваясь, ворона дала им обмирающий фейерверк обмирающего дерьма.

12. Бутылка Плиски после ленинского субботника

У Серовых за столом Новоселов сидел с Катькой и Манькой в обеих руках, как сидят с растрепанными смеющимися цветками. Одаренный ими, зарывался в них лицом и хохотал.

Сам Серов сидел скромненько, но и озабоченно. Так сидят за столом бедные родственнички. Пока Евгения бегала из комнаты в кухню и обратно, откуда-то выпорхнула на стол бутылка Плиски. Как перепелка. При совершенно неподвижных, казалось, руках Серова. По-прежнему скромненьких, подъедающих друг дружку. Удивительно, конечно. Фокус. Но ладно. Бдительность потеряна. Добродушию Новоселова, что называется, не было границ. Добродушие Новоселова затопило стол и его самого за столом. Праздник же, праздник, черти вы мои суконные! Девчонки, как все те же охапки цветов в руках новоявленного Максима Горького, мотались, закатывались вместе с ним смехом.

Все бегала с едой и посудой Евгения. И Плиски николючко на столе не боялась. Подумаешь, – Плиски на столе. Да вместе с Сашей Новоселовым мы горы свернем! А тут – Плиски... Из стопки тарелки в цветочек перелетали на стол как девственницы. Всё предыдущее стремительно забывалось. Всё предыдущее не обращало на себя внимания. Ну вот ни столечко! Подумаешь, – Плиски. Бутылка. Как перепелка. Ха-ха-ха! Наш а-адрес... э... не дом... и не улица. Ха-ха-ха! Плиски! Ха-ха-ха! Перепелка!.. наш а-адрес... Сове...тысыкий Союз-уз!

Три руки (одна женская, две мужских) – точно удерживали в рюмках бурое масло. Поднялись, зависли над столом. Две все-таки сомневающиеся, колеблющиеся, зато третья – абсолютно уверенная в себе. Абсолютно! Стукнув рюмкой рюмки сомневающихся, Серов масло в себя – закинул. Лихо. Залихватски. Подумаешь, – Плиски. Несколько рюмок. Да под такую закуску! Слону – дробина. Челюсти Серова старалась. Он как бы закусывал. Умудрялся уничтожать закуску во рту. На месте. Не пропуская ее дальше. В пищевод, в желудок. Это надо было уметь.

Катька и Манька выделявали ложками. Что вам ушлые гоголевские писцы перьями. После двух-трех рюмок, после обильной еды с ними, лица непривычных к вину Евгении и Новоселова уже внутренне смущались себя, стали тлеющими, особенно у Евгении. Пора была заканчивать всё чаем. Между тем Серов еду по-прежнему растворял во рту, отцеживал в себя, как из тюри, сосредоточенно ждал. Удара. Хлыста. После нескольких рюмок был совершенно трезв. Машинальные, необязательные, вязались ко всему слова: «...Взять твои лозунги сегодняшние, вынесенные кумачи...» Новоселов сразу возразил, что лозунги не его. И кумачи выносил не он... «Неважно. (Неважно, о чем говорить, требовался разгон)... Кумачи. Лозунги. Просто ряды белых букв развешенные. Без смысла уже, без толка... А ты говоришь – читать, изучать...» Да ничего я не говорю!... «Неважно». Сгребались шлакоблоки. Должно было что-то соорудиться. «Читают все, Саша. Да понимают по-разному прочитанное. Сколько у нас начитанных негодяев... Все, к примеру, читали «Муму». Только одни, когда Герасим топил несчастную собачонку, задыхались, плакали... другие – слюнки пускали, как в дырку подглядывали, горели подленьким злорадным интересом... А ты с плакатами, с кумачами». Да не выносил я их! Женя, скажи ты ему! «Неважно... Там и читать-то нечего, не то что понимать. Не слова даже – ряды бессмысленных букв. Вывернутые мелованные пустые глотки. Из анатомии коммунистов. В! О! У! Ы!» Записать бы. Да ладно. Неважно.

Тугомятину во рту отжевывать продолжал. Однако, натываясь на смеющиеся новоселовские возражения, слова Серова стали обретать напор, силу. Напор и силу голимого смысла, выстраданного, даже можно сказать: «...Да о чем ты говоришь, Саша! Вслушайся только... влезь в смысл этих твоих слов! Этого словосочетания – п о д л я ю щ е е большинство... А? Подавляющее, понимаешь? О какой свободе речь?» Действительно – о какой? Новоселов

оглядел всех сидящих за столом. Кроме Серова. Действительно? Евгения уже раскачивалась от смеха. Девчонки тоже смеялись.

Серову нужно было как-то кончать, наконец, со жвачкой. После процеживания через нее Плиски, химический состав дряни во рту стал напоминать хину. Процеживать (сквозь этот состав) стало трудно, неприятно. Даже опасно. Потому что, сами понимаете. Но не всё было досказано: «...И вообще, у них чуть что: съезд ли, пленум – реставраторы кидаются, срочно открывают Икону. Старую. Ленина... И все эти разбойники, толкаясь, гурьбой подстраиваются к ней – мы верные ленинцы! И срабатывает. А икону-то давно обмусолили, ободрали, выскоблили до дна. Но помогает каждый раз. Выводит. Святая...»

Всё. Теперь избавляться. Промедление – смерти подобно. Сплюнуть в пригоршню? Но как? Где? Сплюнул. Сунув голову под стол. Сразу встал. Неопределенно помотал кулаком. С зажатой в нем тайной. Дескать, это, я, в общем. Пошел. Насиленные в ванной, сразу завопили, запричитали трубы. Обрушилась вода в унитаз.

Вернулся. Сел. Во рту был оазис. Озон. Закусывать больше не надо было. Обед окончен. Это точно. Махнул рюмку так. Без закуски. Десерт. Да. Глаза его начали как-то отщелкиваться от всего. Как наэлектризованные кошки. От добавочных ударов электричеством. Он сливал остатки Плиски. В рюмку свою и Новоселова. Руку (кисть) при этом загнуло, скрючило колтуном. Да, отверделым колтуном. Годным для разлива Плиски. Да. Годным.

Евгения уносила посуду. Новоселов бодал Катюку и Маньку на тахте своим чубом-рогом. Глаза Серова мерцали. Угнетенным хмельцом. Как в усадьбе утомленные помещицы свечи. Он нервничал, лихорадочно обдумывал ситуацию. Новоселов этого не замечал.

Потом в коридоре у окна – раскурили по первой. Создали как бы новое, сизое на вид, поле раздумий. Один опять был худ. Как на ветру мученически вдохновенен. Другой по-прежнему не замечал, не улавливал. Блаженным был. Вспоминал все Катюку и Маньку. Посмеивался, покручивал головой. Вот ведь! Счастливый ты. Такие девчонки! За-абавные! Конечно. Девчонки. Согласен. Но – Плиски. Ты не находишь: всегда горчит вначале? Да нет вроде... А Манька-то, Манька! Вот чертенок растет!

Да-а. Один толкует про Фому, другой талдычит про Ерёму. Да-а. Кошмар. Бесполезно говорить. Зря уходит время. Цейтнот. Серов по-прежнему нервничал. Искал выход. Сейчас он пойдет... и... и почитает. Да, пойдет – и почитает. Серов стал еще более вдохновенен. Серьезную книжку. Дылдов дал. Давно, так сказать, не брал я в руки шашек. То есть, книжек, хотел он сказать. Да. Давненько. Сейчас вот пойдет – и почитает, черт побери. Задерживать человека с такой целеустремленностью было нельзя. Новоселов поднялся с подоконника, стал тушить окурок в баночке. Иди, Сережа, иди. Потом дашь мне эту книжку. Было теплое похлопывание по плечу. Доверчивость разливалась. Доверчивость не имела границ. Новоселов пошел к себе отдыхать, пошел словно бы досмеиваться и докручивать головой. Серову трудно было поверить в такой исход. В такую кинутую ему свободу. Поставил баночку с окурками на подоконник. Мимо своей двери – мягко пробежал на носочках. Остановился. Лифта дожидаться? – еще чего! Рванул в другой конец коридора, засакал там по лестнице.

По коридору шел с большим, как у тубиста, ухом. Есть! Голоса! Свернул, смело толкнул дверь – «О-о! Кто пришел! Серу-ун!»

– ...Да что там понимать! Что читать там! – вновь доказывал он, находясь среди трех-четырех полупьяных, табачно-сонных физий. Во рту шел сложный синтез соленого огурца, Плиски (новой Плиски, только что выпитой) и слов. Что-то должно было выйти. Да. Непременно:

– Вывешенная анатомия коммунистов! Глотки, уши, ноздри: А! О! У! Ы! (Записать бы. Да ладно! Неважно!) – стакан с Плиской, вновь налитой, почему-то перед ним потрясывался, зуделся. Словно его кто-то медитировал из-под стола. И парни тоже смотрели на свои стаканы удивленно. Будто спириты...

Ночью Новоселова словно трясли и бросали трясти. Настойчиво принимались толкать, чтобы тут же испуганно бросить. Проснулся, наконец. Сел.

Стукоток робко пробивался от двери. Он то нарастал, то обрывался. Стучали давно. Наверняка давно. Торопливо Новоселов стал надергивать трико.

Раскрыл дверь в электрически холодное, мерцающее несчастье, в беду... Женя плакала, почти не могла говорить, от слез глаза ее высоко, провально означились, как у сторающей заболевшей птицы...

Кое-как дослушал ее.

– Да он же домой пошел, в комнату, при мне!

– Да не был он дома, не был! Как ушли, не был!

Новоселов не знал, что думать, что делать. Глупо предположил, что, может, к Дылдову махнул...

– Да нет же, нет! В тапочках! В майке!.. Господи!.. Я не могу больше, не могу, Саша! – В муке она уводила лицо вверх, и сбившаяся узкая бретелька рубашки из-под халата точно резала ее, перерезала. Ее выпуклую ключицу, ее широкую выпуклую грудь... Новоселов опустил глаза.

– Ну, полно, Женя, полно. Не надо... Сейчас я. Оденусь. Найду его... Иди к детям...

Уходя, женщина смахивала слезы. Шла с нагорбленной спиной, в вислом, точно беззадом халате. Оступались, нелепо подплясывали худые ее ноги...

Серова Новоселов тащил яростно, коленом поддавая под зад. Серов махал руками, как вертолет, пытался оборачиваться, протестовать. Брошенный в своей кухоньке на стул, сразу опал, смирился. Новоселов дверью захлопнул свет из коридора.

Серов вздернулся, осознав обиду. Вслушался в напряженно-провальную тишину комнаты. Вперебой запутывали темноту тенькающие будильники. Вспомнились наглые цикады. Запутывающие ночь. Создающие в ней ломкий черный хаос. Где-нибудь на Черном море. На берегу. В лесной чаще. Где сроду не был. Но где побывать сейчас – надо.

Хитро очень – пошел. Чтобы переловить этих цикад. Споткнулся, мягонько упал между креслом и столом, пропахав щекой палас. Держался за ножку стола. Как за причал, за якорь. Глаза разлеглись по-крокодильи низко, вытарашенно. Были самостоятельны... Потом на зрачки стали падать веки. Чтобы, как чехлы, затянуть их потом совсем, завязать узлами. За окном, над городом, как над цирком, висел чистоплотный апрельский месяц.

13. Моцарт

...Они долго называли его Сикунуном. (Это после обосс... им в Новый год мешка картошки. В полной тьме дело было. В безвыходном, можно сказать, положении.) Сикун. За глаза, конечно. Говорили так Евгении. Женьке. С самодовольным смеющимся превосходством. Они не сикунуны, нет, не сикунуны. «Вон, Сикун твой пришел!» Никак не могли забыть. Потом прилепили новую кличку – Восклицательный знак. «Женька! Восклицательный знак пришел!.. Вон он... Ходит...» И смеялись опять. Невысокий, прямой, очень гордый, Серов прохаживался вдоль окон. Ничего не подозревал. Евгения выходила хмурая. «В чем дело?» – удивлялся Серов. Можно сказать, уже жених. Можно сказать, уже хозяин. Послушно Евгения совала руку в оттопыренный крендель. И шла с этим кренделем от дома. А к окнам, расшвыривая тюль как облака, стремились, лезли все смеющиеся лица. Цирк это для них всех, цирк! А Серов – клоун! Евгения сутулилась, готовая заплакать. Серова удивляло это до перекоса бровей. «Да что с тобой?!» – «Ничего!» Евгения выдергивала руку. Серов шел с кренделем. С пустым. Та-ак. Женские бзики. Понятно. Закуренная большая папирота Серова обдымливала его из кулака – как пасечника. Пасека вся впереди. Пасека только начинается. Вопрос: какие дымокуры для нее еще готовить-подбирать?

У Никульковых был малый семейный совет. Никульковы решили, что дальше тянуть резину нельзя. Опасно. Что все может кончиться для их Женьки большой лялей. А заодно и для них, Никульковых. Куда ж ее деть с ребенком потом, дуру безмозглую? А тут – какой-никакой. Студент все-таки. Учится. Сикун. Может, что и слепится из него. Словом, решено было принять, как следует прощупать. Каков гусь. Решили принять в воскресенье. В ближайшее. В семь.

Он пришел к ним скромный и вдохновенный. Конспекты трубочкой удерживал у груди, как Моцарт ноты. Двумя трепетными руками. Конспекты – это жизнь его. Это его смысл существования. Вот так. Не меньше. Конспекты у груди – самое дорогое. Да. Никулькова стояла рядом с ним какая-то безразличная ко всему. Она будто стала даже меньше ростом. Похудела лицом. Она будто страшно устала. Она вынуждена вот стоять – и стоит. Она сказала только: «Познакомьтесь: Сережа...» Происходило это все в большой комнате, в столовой, где старинный посудный шкаф был по-прежнему величествен как собор, а раздвинутый и уже накрытый стол подавлял, утеснял всех к стенам. Здесь полгода всего назад Серов с Никульковой и еще одна пара встречали Новый год. Вернее, продолжили встречу первого января. И отсюда он, Серов, – вышел. Он оглядывался сейчас и определял – куда он тогда вышел? Все подходили и пожимали Моцарту руку. «Серов! Серов! – барабанил тот, конспекты от груди не отпуская. И все оглядывался. – Сергей! Очень приятно!» Его посадили. Прямо за стол. И Никулькову. Женьку. Слово бы случайно втолкнули – рядом. Он все мял в руках свои конспекты, не зная, куда их можно положить сохранно. Никулькова выдернула конспекты. Бросила на тумбочку. Вот теперь он спокоен. Конспекты будут в надежном месте.

Большущий ограненный графин на столе походил на большущий блестящий шар, что сказочно крутится в ресторане под потолком. Другими словами, на волшебный китайский фонарь походил графин. Водки в него было влито, по меньшей мере, бутылки три. Его хмуρο поднял дядя Никульковой. Григорий Иванович. Поднял как гуся. Точно решил свернуть ему шею. «Может, вам – вина?...» – спросил в неуверенности у Серова. – «Нет, что вы! Водки!» – вырвалось у Серова с излишней поспешностью. Как будто ему вместо сахара предложили хину. – Лучшее, знаете ли. Полезней». Ну что ж, водки так водки. Налито было всем. Кому вина, кому водки. Ну – за знакомство? Начали чокаться. Ваше здоровье! Будьте здоровы! Запрокидываясь, выпивали. Это те – кто водку. Женщины из фужеров – цедили. Дружно принялись все заку-

сывать. Роскошный помидорный салат накладывали из длинного судка, как из ладьи-лебеди, грибную солянку из другого судка, с тарелочек – копченую колбаску, сыр. Всего за столом усердствовало семь человек. Трое мужчин, включая Серова, и четверо женщин, включая Евгению Никулькову. Восьмая, похоже, домработница, все время выбегала из кухни и подносила к столу еще много всего. На секунду присела с краю, как дрозд червяка дерганула рюмку красного, сморщилась и, не закусывая, опять убежала на кухню.

Сначала говорил этот дядя. Григорий Иванович. Он был главным, видимо, здесь. Считался, во всяком случае. Говорил неуклюже, тяжело. Все время подбирал слова. Затягивал паузы, чтобы найти эти слова. Он говорил о том, что надо бы подумать, взвесить всё... о том... что оно, конечно, кто ж спорит?.. Говорил о том... что чего ж теперь?.. может быть оно, ведь всё бывает... и вообще, конечно... Он словно тяжело, трудно выплетал большую, незатейливую корзину. Лысина его с будто не проросшим горохом лоснилась. Он вспотел... Потом взяла слово жена его, сидящая рядом, прямой потомок, дочь незабвенно-легендарных Зиновья и Кульки (родоначальников династии), о которых рассказала Серову Никулькова и которые с фотопортрета на стене смотрели на ужинающих, словно ни на миг не спуская с них глаз, невероятно молодые, бравые, в той обволакивающей розовой подцветке, что мог дать только истинный фотограф-профессионал базарный. И то – только в двадцатые-тридцатые годы. Только тогда... Наследница, в отличие от мужа-мямли, высказывалась определенно и даже зло. Она говорила, что надо учиться сперва. Заканчивать институт. Достигать. Стремиться. А уж потом это самое. Потом эти всякие фигли-мигли и трали-вали... Ко всяким там отношениям мужчин и женщин, ко всякой игривости меж ними, взаимного завлечения, она относилась уже сердито. В силу выхолощенного возраста своего – непримиримо. Как относится к этому делу сердитая пенсионерка-киоскер в косо насунутом на лоб парике. Сидящая где-нибудь в киоске на Бобкин-стрит. В окружении веселых голозадых герлов на развешанных журналах... Или, наконец, как наша, доморощенная, старуха-банщица в мужском отделении бани. Которая ворчит постоянно. Что *развесят тут и ходют, болтают колокольнями своими чертовыми!*.. Она смотрела прямо перед собой. Смотрела напряженно. Как смотрят фанатики, слепые. Сжигая взглядом пространство перед собой. Да-а. Вот будет тебе теща, Серов! Серов даже повернулся, ища у кого-нибудь защиту, поддержку. Ему улыбнулись две женщины. Очень похожие, отцветающие уже, хотя и пышнозавитые. Видимо, родные сестры. Подпирая щеки ладонями лодочкой, они весь вечер молча, грустно и откровенно разглядывали Серова, моргая длинно начерченными ресницами, как будто бы невиноватыми ночными бабочками. Серову казалось, что эти две женщины знали и знают про него всё. И он опять не знал, куда ему смотреть и что делать. Выручал его еще один будущий родственник. Мужчина средних лет. Из тех, что любят удивлять, ошарашивать, труднейшие, каверзные задавать вопросы. На которые, впрочем, тут же сами и дают ответ. «А знаете ли вы, молодой человек, сколько может пчела налетать за день километров? А?» Серов вздергивался: нет, он не знает! Тут же следовал коротенький реферат на тему трудолюбивой пчелы. И по-калмыцки прищурился лектор. И улыбнулся. Вот такого порядка человек. Постоянный читатель рубрики «Это интересно». Из журнала «Наука и жизнь», к примеру. Или из журнала «Вокруг света». Когда он читал Серову второй подобный рефератик (там тема была – вулканы) – все так же в коротких паузах включал и тут же выключал улыбку. Включит и выключит. Включит и выключит. На сердечность оказался – очень экономный. Склоненная большая круглая голова его была окинута жесткими волосами, как будто декабрьским проседевшим сеном... Потом он выпил рюмку водки. Быстро и хорошо поел. Встал, извинился, поцеловал мрачную тетку, пожал руку Серову – рад, рад был познакомиться! – и ушел. Дела. Кто он тут, кем кому – Серов так и не понял. И перестал вздергиваться: не перед кем больше.

Как будто медленную куриную лапу подносила вилку ко рту Евгения Никулькова. С перерывами, с замирающими паузами – жевала. Точно боялась во время работы челюстей оглохнуть на миг, не услышать чего-то, пропустить. Блуждая взглядом возле себя, остро вслушивалась, о чем говорят за столом. Как будто сама была в гостях. Впервые приглашенной. Точно решала... никак не могла решить – к кому ей примкнуть. К этим всем за столом или вот к этому, который рядом?.. Брала зубами медленно кусочек мяса с вилки. Как леденец. Не касаясь его губами.

Между тем хмурился Григорий Иванович. Даже обижался. Как будто его обманывали. Водка, наливаемая им в рюмку Серова, все время как-то неуследимо исчезала. Улетучивалась. Словно сама кидалась к потолку мгновенным испарением. Только что наливал – и пусто. Григорий Иванович пытался понять – как так? Потому что рюмка его, Григория Ивановича, все время стояла полной. Как бы ожидающей. Знающей себе цену. Хотя он и отпивал из нее по глоточку... Было стремление сравнять. Сравнять обе рюмки. Чтобы были постоянно наполненными. И... и ожидающими. А то черт знает что! Григорий Иванович брал графин за горло. А Серов уже размахивал руками. Уже разгоряченный, уже маньячный, какой-то красноветровый. Он говорил двум женщинам. Двум сестрам. Которые по-прежнему были подперты ладошками лодочкой, по-прежнему моргали загнутыми длинными ресницами как невиноватыми ночными бабочками. «...Да я видел его один раз! Понимаете?! Один-единственный раз! Школьник! В девять лет!.. Из школы иду. На улице. На тротуаре. Увидел он меня – и замер. Дышать даже боится. Не может. Как на дыбу подвесили. А я рядом уже, иду с ранцем, мимо, быстрей, пригнулся, побежал, дурачок. А он стоит, покачивается и грудь трет, и воздуху ему нет. И всё тянется, всё смотрит мне вслед... Они выперли его, выперли! А потом и из города выжили! И сгинул человек, пропал!..» Это он на вопрос об отце. Будущая теща-киоскер вопрос этот въедливо, упорно задавала. И достала-таки. А отвечал он почему-то двум этим молчаливым женщинам с загнутыми ресничками. Почему-то казалось, что им – можно. Они поймут. Но... но сказано было лишнее. Явно лишнее. Сказано все это было зря. Об этом не знала даже Никулькова. Евгения. Которая сейчас замерла со своей вилкой, с разинутым ртом. На этой патетической страдательной ноте и закончить бы всё, и впечатление бы осталось, и говорили бы о нем, Серове, потом, может быть, с каким-то сочувствием, с каким-то пониманием... Но нет. Рюмки через три, которые выравнивал и выравнивал этот упрямый козел с непроросшим горохом на голове, Серов начал вырубаться. У Серова пошли отключения. Отключки. Периодами. То короткими, то длинными. Пошла уже клоунада. Карусель. Он вдруг уставился на батарею под окном. Батарея под окном была как изготовившийся толстоногий кордебалет! Вставший разом на пуант! Проще говоря, на цырлы! Ну ладно. Пусть. Кордебалет – и пусть. Они готовились. Понимаете? Сейчас пойдут выкидывать. Ногами. Дружно. Эх, записать бы. Да где ж тут? Графин уже почему-то лег на бок. Издыхал как первомайский недоносок-пузырь. Это как понимать? Странное поведение графина. Очень странное. Не правда ли? Серову нужно было уходить. Притом уходить немедленно. Срочно. Нужно было встать – и выйти. Как он уже сделал здесь однажды. А он всё сидел и сидел. Блаженно, хитренько улыбался. Принялся рассказывать анекдоты. Хихикал. Один. Прямо-таки заливался смехом. Изображая дикий восторг, в нетерпении подмигивая направо и налево, стал приставать к Григорию Ивановичу с дурацким вопросом о первой брачной ночи. А, дядя Гриша? Григорий Иванович перестал жевать. Щека его отвисла как баллон. Отвечать или нет? Повернулся к жене. Но Серов уже забыл о нем...

Потом его выводили. Он путался в коридоре. Опять вышел не туда. В чью-то спальню. С уже раскрытой постелью. Он пошел было к ней, но его повернули, направили. Он оказался в кухне, откуда был выход во двор и дальше, к воротам. Не узнавая кухни, поворачивался, озирался. В подтверждение себе, что это он, Серов, вдруг крепко поцеловал дядю Гришу. Сильно примяв его длинную щеку. Похлопывал кукурузную лысину. Вот, ветеран. Праздник. Со слезами на глазах. Нужно было говорить какие-то слова прощания. А он в забывчивости все ощупывал лысину. Гороху вроде бы под кожей было много. Но почему, почему он не всхо-

дит?! Почему не произрастает?! Почему наверх нейдет?! Дядя Гриша?! Ну-ну! – смушался дядя Гриша. – Будет, будет! Надевай-ка лучше обувь свою. Тут же терпеливо стояли и две молчаливые женщины с загнутыми ресничками. Были они в обширных прозрачных блузонах дымчатого цвета, из-под которых выглядывали новые ядовито-синие джинсы... Серов и к ним полез целоваться. Повис на одной из сестер. Женщина была очень мягкой и помещала его всего. Отпрянул. Пригнувшись, занялся шнурками на туфлях. Конфигурацией походил на верблюда, лезущего через игольное ушко. Потом четко отчеканивал, оскаливая зубы, как бы делал улыбку: «Благодарю! Тронут! Благодарю!» Никульковой посоветовали проводить его. Хотя бы до остановки. Но та стояла глухо и отчужденно, как стенка. Серов успокаивал. Серов хотел мира: «Дядя Гриша – не бздимó! Прорвемся!» Оставлял пожелания: «Тетя Каля, пора бросать баню! На колокольни смотреть – хватит! Девочки – жизнь не кончена. Мужики вам будут! Женька, я в порядке! Ты знаешь! Как всегда!» Только что надетые востроносые туфли его смотрели в разные стороны. Как у Чарли. По-балетному. Но это ничего. Это дисциплинировало. Не давало упасть. Да. Был рад. Познакомились. Бесконечно. В следующий раз – непременно. Да. Всё. Всем привет! Провожать – ни-ни! Ни в коем! Я – пошел! То есть я – вышел!.. Что-то громко прогремело в сенях и словно бы беззвучно отделилось, отпало от дома. Стало тихо. Две женщины, вздыхая, холили кисточками перед зеркальцами длинные свои реснички. Так холят пчелы в голубых цветках загнутые пестики.

...Серов разом проснулся. По картине на стене сразу понял, где находится. Место узнал. Он был в комнате аспиранта Дружинина и сантехника Колова. На кровати Колова. В общаге. На Малышева. Будильник на столе походил на богдыхана. Сейчас ударится, заверещит, зайдется. Но давно отгремел, отпрыгался. Одиннадцать. Двенадцатый. Лекциям конец. Побоку лекции. Серов упал обратно на подушку, закинул руки за голову. Все так же наблюдалась свободная миграция тараканов по стенам. Из комнаты в кухню и обратно. Туда бежали гурьбой и обратно гурьбой. Шли выборы. Серов тараканам не мешал. Не до того. Подкинувшись на локоть, уже с испугом вспоминал вчерашнее...

Через пять минут он звонил из автомата возле общаги. Поздоровавшись и назвавшись, сразу спросил про конспекты. Не оставил ли он у них в доме, в столовой? Веселый женский голосок (не Евгении! где ей быть! на лекциях она! давно!) ответил, что конспекты ему были всунуты в карман. В карман пиджака. Во внутренний. Он не брал их, отбивался, но ему затолкали их все-таки. С трудом, значит. Можно сказать, с дракой. А уж что и как было потом – это... Разом Серов вспомнил, как, идя по Исетскому мосту, отрывал от тетрадей длинные полосы... и яростно раскидывал направо и налево прохожим. Отрывал и раскидывал. Как забузивший весь в лентах телетайп!.. Расшвырял – и всё, и дальше провал, дальше ночь!.. Смеющийся голосок все захлебывался в трубке, рассказывая ему в подробностях – как засовывали ему за пазуху эти конспекты. Как он брыкался. Потеха! А он чувствовал уже, плохо понимая что ему говорят, как тяжело, жестоко краснеет. Но ко всему прочему его уже называли на «ты». После, так сказать, **вчерашнего**

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.